

Александр КРАМЕР

ДРУГИЕ

КИКИ

Его зовут Кики. Нет, Кики — это не настоящее имя. Так попугайчика звали, который жил в его комнате, еще когда он был маленький, еще когда родители были живы. Попугайчик умел говорить и по сто раз на дню произносил свое имя, вот он его и запомнил. Никаких других слов, к сожалению, больше так и не выучил.

Когда не стало родителей и он вынужден был переселиться в дом для инвалидов, то по всякому поводу произносил, да и произносит, любимое слово — так оно к нему вместо имени и прилепилось.

Кики маленький, кругленький и почти как две капли воды похож на своих сородичей из племени даунов. Впрочем, мы японцев с китайцами тоже друг от друга не очень то отличаем, но это я так...

Кики добрый. Улыбается целыми днями и готов всегда выполнить все, что бы ни попросили.

Кики трудолюбивый. Он работает в маленьком цехе, где собирает коробочки из заготовок картонных. Сто коробочек, двести коробочек в смену, а то и все триста. Неделями, месяцами, годами... Уму просто непостижимо, сколько это коробочек наберется за все эти годы, но его привели однажды сюда, посадили, показали, что надо делать, — и он собирает.

Кики прилежный и аккуратный. Все, что нужно ему для работы, стоит у него на столе в строго определенном порядке; стоит хоть чуточку этот порядок нарушить, он тут же это заметит, тщательно все поправит и лишь после этого продолжит работать.

Кики собирает коробочки и ни на что почти не отвлекается. Разве что на пару минут, когда, например, бабочка в цех залетит, или зайдет незнакомец кто, или... Впрочем, все достаточно однообразно, поводов для отвлечения не слишком-то много, а так иногда бывает приятно на что-нибудь переключиться, когда ты день за днем собираешь и собираешь одни и те же коробочки.

Периодически, раз, а то и два раза за день, коробочки эти Кики осточертевают, достают до печенок прямо. Тогда он внезапно срывает с себя очки, швыряет их на пол (благо, пол с мягким покрытием и стекла из пластика не разбиваются), затем, что есть силы, швыряет в пространство очередную коробочку и начинает вопить на одной единственной ноте: «Ай-яй-яй-яй-я-я-яй...». Замолкнет на секунду — и снова: «Ай-яй-яй-яй-я-я-яй...» И снова... И кулаками размахивает. И слезы текут по щекам.

Так кричит, бедолага, пока не устанет ужасно или пока, с ухищрениями всякими, на него снова не наденут очки. Тогда Кики стихает, сникает, голова опускается, и он задремывает на считанные минуты. Очнется и вновь, как ни в чем не бывало, начинает очередную коробочку складывать.

Мне однажды захотелось понять, что же это такое с ним происходит. Я нашел себе стол, принес ящики с заготовками и стал, как и Кики, из заготовок коробочки складывать. Какое-то время было мне даже и интересно: я старался работать как можно быстрее, точнее, даже соревнование сам с собою устроил. Но развлечением это оставалось недолго. Стало надоедать. И чем дальше, тем больше. И когда через неделю Кики заверещал в конце смены свое «ай-яй-яй», мне вдруг непреодолимо захотелось швырнуть все к чертовой матери и заорать вместе с ним — что есть силы. Больше я после этого на себе эксперименты не ставил.

До чего же хорошая штука — свобода выбора. Жаль, что Кики об этом никогда не узнает.

СЕРГЕЙ

Они приехали из глухой казахстанской деревни — муж с женой и мальчик с синдромом Дауна. Муж в совхозе трактористом работал, а жена бухгалтером там же; и когда у них такой необычный, с азиатским разрезом глаз, ребенок родился, решил тракторист почему-то, что жена с председателем совхоза — казахом — ему изменила, со всеми вытекающими из этого для жены последствиями.

Доказательств неверности жениной не было, разумеется, никаких, но так мужика нелепое предположение проняло, что уже ничьи доводы на беднягу не действовали. Даже когда местный фельдшер ему объяснил, что ребенок родился у них, к сожалению, больной, неполноценный, и болезнь эта лечению сегодня не поддается, что в нормальную школу ходить никогда не будет, что долго с болезнью такой не живут и разрез глаз у ребенка — тоже от этой болезни, из-за чего она раньше «монголизм» называлась, даже тогда ревнивец-тракторист не поверил, решил, что председатель с фельдшером сговорились и хотят вокруг пальца его обвести. Но кое-что важное для себя он из беседы с медиком вынес: в школу ходить не надо, жить долго не будет. На основании этих сведений и принял решение дикое, невероятное просто: непонятно чьего ребенка (кому охота, чтоб в деревне над тобой насмехались) из дома больше не выпускать, в дом посторонних тоже не пускать никого, ничему пацана не учить, ждать, когда окочурится. Точка.

Когда эта семья эмигрировала из Казахстана в Германию, мальчик-даун совсем большой уже был — лет четырнадцати-пятнадцати. Разговаривать он не умел, мычал только. Ел руками. Вместо зубов изо рта черные пеньки торчали. На улице у него начиналась истерика, и он только в каком-нибудь замкнутом, не слишком освещенном пространстве успокаивался. На незнакомых людей, точно зверь, набрасывался, мог покусать, исцарапать. При виде машин впадал в ярость неопишуемую. В общем, был чем-то вроде Маугли, превратившегося в звереныша среди человеческих особей.

В Германии не учить ребенка в школе запрещено. Даже если ребенок неполноценный. Даже если неполноценный, слепой и полностью парализованный. Нет никаких исключений! Во-первых, вы не будете получать от государства пособие — «детские деньги», а во-вторых, вас накажут, согласно гражданскому законодательству.

Поэтому, после приезда, дикий подросток-даун попал, наконец, в специальное учебное заведение. Каждый день за ним домой приезжал микроавтобус и забирал его в школу, а вечером привозил обратно. Дело это было не простое и даже опасное. Пока его заводили, как быка упирающегося, брыкающегося и ревущего, в автобус и там ремнями безопасности к креслу пристегивали, семь потов сходило с шофера и помощника, много чего повидавших и умевших. К непростой этой операции хотели даже привлечь родного отца. Его, безработного, в штат обещали зачислить и зарплату платить, да он отказался.

С тех пор, как я об истории этой узнал, три года прошло, и событие среди прочих в памяти затерялось. А недавно гуляли мы в парке, который находится на территории заведения для душевнобольных и одновременно городу принадлежит, и встретили сидевшего повзрослевшего, растолстевшего больше прежнего дауна-переселенца — его нетрудно узнать было по длинному тонкому шраму на правой щеке. Он катил важно на взрослом трехколесном велосипеде с толстой сумкой через плечо; я окликнул его, поздоровался. Он остановился, осклабился в фарфоровой улыбке и произнес важно и вполне членораздельно: «Их бин Зергей. Их арбайте хир. (Я работаю здесь)», — и покатил себе дальше.

К слову сказать, дауны до семидесяти лет теперь запросто доживают.

ЮРИК

Юрик пришел к нам в пятом классе. Папа у Юрика был очень известный ученый-химик, профессор, автор бесчисленных книг и изобретений... А вот мамы не было. Она, вскоре после рождения сына, мужа с ребенком бросила и сбежала неизвестно куда, потому что Юрик инвалидом родился, умственно неполноценным, и не смогла она, и не захотела с таким ребенком жить и возиться.

Юрик пришел к нам в пятом классе потому, что папа-ученый долго не мог смириться с неполноценностью своего ребенка, в специнтернат его отдавать не хотел ни за что, воспитывал дома с помощью своей старшей сестры-педагога. По той же причине и в нормальную школу отдал (как уж он все препоны, связанные с инвалидностью мальчика, обошел — остается только догадываться). Думал, наверное, что так будет лучше, что так, среди нормальных детей, разовьется он больше. Да мало ли что он думал. Я ведь все это только предполагаю.

Я помню, как все это началось. Мало того, теперь понимаю, что это неизбежно должно было произойти, ведь в любом классе обязательно есть завистливое, мерзкое шакальё, которому слезы чужие в радость, кому чужая боль — сладкий праздник.

Однажды, я запомнил уже, по какому поводу, нас — всех мальчишек — пригласи-

силы в профессорский дом. Ах, какие игрушки там были! Я до сих пор помню всехний щенячий восторг от невиданной никогда огромной железной дороги, радиоуправляемых и электрических автомобилей, работающих экскаваторов и подъемных кранов, огромных оловянных солдатиков в какой-то необычайной амуниции, а пушки стреляли, а танки и автомобили двигались... Ещё там роскошный был, удивительный просто аквариум, и колли, и кот персидский...

На другой день нас вывели в сквер напротив школы, и Юрик каким-то образом, или же с чьей-то помощью, отбилась от класса. Его стали искать и нашли сидящим на другом конце сквера в кустах, с землею за шиворотом, измазанного какой-то дрянью. Так и пошло. Юрика все время старались как-то унизить. Но основным развлечением было, тихонько подкравшись, сдернуть с него штаны и толкнуть в спину; тогда неловкий и толстый Юрик барахтался с голым задом посреди коридора на потеху многочисленной публике. Еще адрессировали, что когда подносят кулак к лицу и спрашивают, чем пахнет, то отвечать нужно, что салом, а чтоб побыстрее дрессировался — били. Еще множество и других имелось придумок, но первые две были основными и пользовались неизменным успехом, а потому и применялись чаще других.

Когда я перешел в седьмой класс, родители получили квартиру, мы переехали, меня перевели в новую школу, и Юрик на время из моей памяти выпал. Я перешел на последний курс политехнического, когда какое-то дело привело меня в мой старый район. Я остановился возле молочного магазина, чтоб прикурить, и вдруг из него вышел Юрик — растолстевший ужасно, огромный; он крутил над головой пустую авоську и мурлыкал под нос непонятно что.

— Юрик, привет! — окликнул я.

Он остановился, продолжая крутить авоську, и замолчал, свесив голову набок.

— Юрик, ты меня помнишь? Как дела, как папа, как тетя?

Юрик похлопал себя ладошкой по голове, ухмыльнулся и стал по порядку, монотонно отвечать на мои вопросы.

— Не помню. Дела хорошо. Папа работает. Тетя умерла. Послали за молоком. Молока нет. Сказали, прийти в три. Сколько времени?

Я хотел посмотреть на часы и непроизвольно сжал левую руку в кулак. Увидев мой жест, Юрик переменился в лице, отступил поспешно назад и с этого, как ему казалось, безопасного расстояния выпалил:

— Пахнет салом! Салом пахнет! Сам знаешь!

Потом ткнул в меня указательным пальцем и прошептал:

— А штаны, пожалуйста, не надо снимать.

СТРАУС

Вначале было больно и страшно. Будто наказали — неизвестно за что — и забыли простить. И не захотели простить. А потом он стал страусом. И все страхи, и боль ушли понемногу. И казалось, совсем, навсегда.

1

ЗПР иногда называют — задержка развития. Это когда твои сверстники болтают уже давно смешные всякие глупости, а ты все молчишь и молчишь, все малыши рисуют уже и лепят, а ты все никак... Это когда ты почти совсем такой же, как все, но только почти.

А ужасное самое, что эту задержку и ты сам, по тому, как относятся, тоже чувствуешь, понять только не можешь, за что, отчего же так!

2

Отставание было совсем-совсем крошечное, так что и читать, и писать, и считать — всему выучился, вот только с логикой выходило всегда плоховато, но школу, пусть специальную, по облегченной программе, закончил все ж таки.

После, когда стал жить в маленькой общежитской комнатке — сам, даже не сразу привык, что больше никто задевать, потешаться, бить и мучить не станет. Но внутри еще долго какое-то гадкое ожидание оставалось, что сейчас войдет кто-то и что-нибудь очередное пакостное и выкинет. А когда стучали, аж вздрагивал. Но понемногу проходить опасения эти стали, и внутри заживало все, успокаивалось.

3

Долго не мог ни к какому делу прибиться, никакой работы не находилось, никак. Очень хотелось, во-первых, чтобы получалось все сразу, сразу и замечательно, но так не выходило, а его, как казалось, донимали за это, подначивали, и смириться не мог,

понять, что это нормально, что у всех поначалу так... Слишком уж в интернате досталось, чтобы снова терпеть. А во-вторых, где попало работать не мог и не собирался. Обдирающий руки ржавый и жирный металл, вонючие жидкости, гудящие конвейеры, грохот кузни — все это было ужасно, отвратительно, казалось бездушным и потому — безобразным.

Так много месяцев продолжалось, пока не занесло однажды в парк аттракционов. Здесь и остался работать, страусом, потому что никто не шпынял, не дергал, да и учиться ничему особенному не пришлось: он ходил по аллеям, раздавал воздушные шарики и играл с малышами — все просто и замечательно.

4

Он отчего-то выделил ее, сразу; ужасно понравилась, просто не передать; все замирало внутри, когда видел; иногда переходил потихоньку за ней с аттракциона на аттракцион — любовался; и даже дома светился потом, будто праздник.

Она чуть не каждый день приходила, после обеда, и уже, почти что всегда, до закрытия оставалась. Вот только он все никак пройти познакомиться не осмеливался — стеснялся.

Наконец, отважился и вечером, в свой выходной, дождался у выхода, подошел, протянул темно-красную розу и застыл — безмолвный, смущенный, весь внутренне сжавшись от робости, переживания... Но она ничего, только хмыкнула с надменной улыбочкой, глазки широко-широко открыла, плечиком повела, губками пошевелила, будто сказать что хотела, да передумала, и удалилась, как вроде его и не было; а он следом пошел, поодаль чуть; проводил до самого дома, счастливый и этим — донельзя.

И на завтра пришел. Тоже с розой. И когда цветок протянул, вдруг смутился необыкновенно, еще больше, чем в первый раз, пунцовый такой сделался... даже сам нестерпимый жар этот чувствовал. А она снова хмыкнула, распахнула, повела, гримаску капризную скорчила... Протянула небреженько:

— Ладно, поклонник, пойдем, где-нибудь посидим, — и пошла себе не оглядываясь, с вялой полуулыбочкой.

5

Пять раз уже виделись. Только она никогда веселой такой не бывала, как на качелях и горках. А так хотелось развеселить, увидеть замечательную улыбку, услышать, как хохочет от удовольствия... Тем более, что не сказал, где работает.

Он подошел неожиданно к ней на аллее в своем страусином нарядном костюме, приподнес галантно всегдашнюю красную розу и внезапно... вместе с шеей снял страусиную голову.

Она сначала совершенно оторопела, как вкопаная замерла, а потом на губах вдруг гримаса прорезалась — чудовищная, уничтожающая, хохотать начала — презрительно, и смотрела, как на пакость какую-то, и стучала себя по лбу, и у виска крутила, и такую гадость сказала!.. Так к выходу и направилась: оборачиваясь, гримасничая и крутя у виска; а он без сил на лавочку опустился и застыл — подавленный, уничтоженный — полуживой...

6

— Ты что, сломался, сломался, — строго спрашивала огненно-рыжая девчушка в замечательном розовом платье, настойчиво теребя его за рукав, — сломался, да? Почему ты молчишь как рыба! Отвечай!

— Нет, не сломался, — он, наконец, вынырнул из ниоткуда и мотал головой, не в силах сосредоточиться, осмыслить, кто же это и что от него хотят. Наконец, удалось все же взять себя в руки, собраться: — Ты глупая, человек сломаться не может. Он не машина, — и внезапно улыбнулся непроизвольно, такая она была серьезная и смешная. — Я просто устал, понимаешь?

— Понимаю, конечно. Только почему ты сидишь здесь без головы? Разве без головы отдыхают? Ладно, я вижу, ты уже хорошо отдохнул. Надевай свою голову снова, и идем искать мою маму. Я, кажется, потерялась.

— Ну вот, с головою намного лучше. Теперь бери меня за руку, и идем, наконец, искать, а то мама, конечно же, вся избегалась.

— А тебя каждый день здесь можно найти?

— Почти каждый, я же работаю.

— А выходные?

— Выходные у меня в понедельник и вторник, а в другие дни я обязательно (под ноги смотри), обязательно в парке.

— Я смотрю. Мы тебя здесь тогда в невыходные найдем и будем вместе гулять — я, ты и мама. Договорились?

РЕВНИВЫЙ

У него была маленькая круглая голова на длинной жилистой шее, широкий зад, узкие покатые плечи и большой отвислый живот. Теперь, когда он сидел, живот растекся у него на коленях бесформенным студенистым холмом, и он изредка нежно и сосредоточенно оглаживал его двумя руками.

Когда он вошел и сел на свободное место в последнем ряду, лицом к задней стенке троллейбуса, надменного вида дама, рядом с которой он сел, немедленно встала и отошла, сделав брезгливую мину. Поэтому он сидел теперь совершенно один, разместившись свободно посередине сидения, и что-то беззвучно сам себе объяснял, слегка размахивая руками и вяло гримасничая. Иногда, когда обычных доводов не хватало, он вдруг начинал неистово жестикулировать, и гримасы его становились ужаснее и выразительнее. Временами он поднимал руки вверх и бурно раскачивал ими так, будто это — трава под ветром в степи. Было видно, что он получал от этого какое-то особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие, потому как на лице его тотчас появлялось выражение благодати и блаженства.

Так коротал он время за чудесной беседой, пока взгляд вдруг не упал на двух изысканных вертушек — рыженькую и блондинку, стоявших справа у окна, на площадке. Вертушки громко смеялись, щебетали и были и вправду по-весеннему чудно милы. И от этой неожиданной красоты он даже как-то затормозился, невероятным змеиным движением, ап, поправил ставшую вдруг помехой шею и, срочно закатав до колена брючину вельветовых синих штанов, стал подтягивать канареечный носок и шнуровать красный ботинок — прихорашиваться. Покончив с этой важной во всех отношениях процедурой, снова, ап, поправил змеиным движением шею и медленно стал переводить взгляд с одного чудесного видения на другое, с одного — на другое... Видимо, рыженькая понравилась ему больше, потому что он уставился на нее и застыл, свесив руки и приоткрыв в обожании рот. Наконец, рыженькое создание окончательно утвердилось в его душе в качестве фаворитки, и внезапное чувство пустило волшебные корни. Гримасы блаженства стали набегать на лицо его волнами, руки стали крутиться быстро-быстро, как крылья ветряных мельниц... Он был влюблен! Он был счастлив необыкновенно!

Откуда он только взялся, этот патлатый верзила! Гнусность какая! Поцеловал ее даже! И вторую! Это было ужасно, это было с ее стороны такое предательство, такая измена... Он немедленно «сделал шеей», нахмурился, гневно выпятил губы, вытянул ногу и топнул. Он ревновал! Он мучался! Он бил кулаками воздух и грозно скрипел зубами!.. Он... Но все было напрасно. Измена была очевидна! Постепенно стало посягаться понимание тщетности, пока, наконец, окончательно в нем не утвердилось. И такая тоска появилась на лице, безысходность такая... А потом он как будто смирился. Не то чтоб покой, но успокоенность пришла в его душу. Он взял свою левую руку правой и погладил себя ею по голове, одновременно мурлыкая что-то под нос. Постепенно светлая грусть овладела им, глубокая светлая грусть. Откинувшись на сиденье, он погладил живот, повелительно стукнул себя кулаком по колену и принял решение.

— Встать! — скомандовал он себе — и резко поднялся. — Штаны подтянуть! — скомандовал он себе — и штаны были срочно подтянуты. — Шеей ап! — скомандовал он себе — и она подчинилась.

Теперь все было кончено. Трудности преодолены. Пора было двигаться дальше. Гордо закинув голову, он вышел на остановке, подошел к каштану, цветущему у обочины, обнял его... и горько-прегорько заплакал.

МУЗЫКАНТ

Когда одним и тем же автобусом едешь изо дня в день, к одному и тому же времени, то большинство пассажиров узнавать начинаешь и даже здороваешься. Вот мы с ним таким образом около года и сталкивались.

Он где-то раньше садился. Когда я входил, он уже сидел на своем излюбленном месте в центре салона и, отрешенно уставившись перед собой, слушал какую-то музыку.

Был он ужасно худой, нескладный, щеки запавшие, узкие губы совершенно бескровные, жидкие волосы висели длинными прядями и редко бывали расчесаны, а в руки вьелось какое-то бурое вещество, с которым он, видимо, постоянно работал; и всегда у него на шее висел яркий плеер, а в ушах торчали наушники.

Спокойно он не сидел ни минуты, что-то все время беззвучно напевал, осторожно, боясь зацепить соседа, водил перед собою руками — дирижировал, даже подпрыгивал несколько от возбуждения; при этом некрасивое, длинное лицо его постоянно менялось: он улыбался — восторженно, осторожно, саркастически и вдохновенно... он

гневался и печалился, отчаивался и вновь надеялся... Лицо его отражало бесконечную гамму чувств и их всевозможных оттенков. Я за это про себя называл его «музыкантом».

Дважды мне удалось музыканта увидеть вне автобуса. Первый раз он шел с какой-то седой женщиной — такой же, как он, худой и к тому же невероятно высокой. Плейера в этот раз на нем не было, и, может быть, потому музыкант выглядел жалким, чем-то невероятно напуганным: голова его была низко опущена, бедняга шарахался от прохожих, вздрагивал, если вдруг к нему кто-то нечаянно прикасался, двумя руками цеплялся за руку худой великанши, зябко жался к ней... Так карманная собачонка, спущенная на землю, без всякого повода в страхе жметя к ноге хозяйки.

А второй раз музыкант был один, и родной его плейер был с ним. Двигался музыкант довольно плохо: ноги при ходьбе заплетались, тело раскачивалось, голова на худой длинной шее моталась как маятник... Но при этом он даже не шел, а летел, глаза были полузакрыты, руки двигались широко и свободно, точно он управлял невероятно огромным оркестром; еще, казалось, он пел — восторженно, упоенно, и лицо его при этом освещалось ликующей, победной улыбкой.

День был субботний, центр кипел праздным, хаотично шатающимся народом, но ему было все равно: в своем самозабвении он люд этот просто не замечал; он врезался в него, как форштевень врезается в воду, и толпа, как вода, расступалась, не в силах устоять перед этим напором, перед этой энергией всепоглощающего вдохновения.

И я поймал себя вдруг на том, что завидую музыканту, завидую остро тем удивительным чувствам, которые он, должно быть, теперь испытывает. Правда, должен признаться, что зависть моя продолжалась всего одно только микроскопическое мгновение.

НИНЕЛЬ И ИРАКЛИЙ

Когда-то она была очень красива! Удлиненное лицо обрамляли волнистые волосы цвета гречишного меда, глаза были светло-зеленые, колдовские, а веснушки придавали лицу чудесную прелесть и просто сводили с ума. А потом она заболела. Так же, как и брат, которого теперь уже нет. Болезнь неумолимо заковывала ее тело в панцирь, почти сразу отняла возможность ходить, а теперь уже даже руки двигались еле-еле. Недуг прогрессировал, но происходило все мучительно медленно, и каждый новый день нес новую, невыносимую боль; никто во всем мире ничем не мог ей помочь.

Чтобы не оставаться все время одной и хоть как-то отвлечься от боли, она попросилась на работу в маленький цех предприятия для инвалидов, где укладывала какие-то инструкции на дно картонных коробочек — это она могла пока еще делать. Здесь они и познакомились.

В равнодушной своей жестокости природа дала ему силу и красоту, а разум отняла почти весь: он не разговаривал, не читал, не писал, но понимал и мог делать довольно много. И работа в прачечной была у него, по меркам этого заведения, сложная и ответственная.

А тут он ее увидел, и с ним что-то случилось — непонятное, необъяснимое, что оказалось сильнее ущербного разума, выше издевательской воли природы. Будто душа его непонятным образом разглядела в этом бесплотном, неподвижном почти существе с реденькими тусклыми волосиками, ввалившимися щеками и узким беззубым ртом — изящную, удивительную красавицу, какой была она множество лет назад, и прикипела к ней, и больше ни есть, ни пить, ни дышать без нее не могла.

Он носил в кошельке ее фотографию, ту, где она сидит в кресле, протягивает к нему руки и улыбается, и всем подряд — знакомым и незнакомым — фотографию эту показывал. Подойдет, достанет бережно из портмоне, подержит недолго у вас перед глазами, будто жалуясь, разведет руками недоуменно и пойдет, сокрушенно качая кудратой большой головой.

Стоило выпасть свободной минуте, как он немедленно шел в упаковочный цех, к ее столику. Подойдет, снимет с нее пепельный паричок (не любил отчего-то), натянутый, точно шапка, до самых бровей, и гладит, гладит по голове, потом поцелует осторожно бескровные губы и пойдет по своим делам.

На этой работе, как и на всякой другой, людям положен отпуск. Ну, и ему дали отпуск, две недели, сказали, на работу не приходите. Но он, к удивлению многих, все равно приходил, каждый день, точно к началу рабочего дня, и стоял неподвижно у двери, и подолгу, неотрывно смотрел на нее.

С тех пор, что он появился, жизнь изменилась так сильно! Стоило ей его только

увидеть, только почувствовать его приближение, как на серых щеках проступала бледная краска, на бескровных губах появлялось подобие слабой улыбки, боль отступала, и она вся подавалась ему навстречу.

Какое же это необыкновенное счастье, когда есть замечательный друг, которого можно попросить о чем только угодно. Он часами катал ее по дорожкам парка, осторожно кормил мороженым из ложечки, водил в кино, гулял с ней по городу, завозил в магазины и безропотно ждал, пока она насладится чудесным видом нарядной одежды, обуви, украшений... Боже мой, сколько же удовольствий и радостей пришло вместе с ним! Изредка они даже отправлялись в маленькое путешествие: он закатывал ее в электричку, и они ехали, ехали... Он даже домой к ней заходил иногда, но только вел себя очень странно: сядет в низкое кресло, упрется локтями в колени, обхватит лицо ладонями и сидит неподвижно часами, смотрит не отрываясь, не дыша, а потом встанет вдруг и уйдет; даже не поцеловал ее дома никогда, ни единого раза.

Работа — это работа, от нее устаешь, особенно когда неподвижно сидишь в инвалидном кресле, и даже позу переменить нет ни малейшей возможности. Когда эта усталость становилась невыносимой, она протягивала к нему худенькие, бессильные руки, и он немедленно, сломя голову спешил к ней на помощь. Поднимет из коляски, прижмет к себе, как драгоценность, нежно и крепко, и ходит, и ходит кругами по цеху, будто танцует, а она положит голову к нему на плечо, обнимет за шею и улыбается тихо, и глаза сияют, будто два тихих, чудесных огня, будто два тихих, чудесных, уже нездешних огня.

МАРТИН

1

И всегда одни и те же унылые стены. И всегда одни и те же опостылевшие, невзрачные, постные лица. И вечно одно и то же, одно и то же! Совершенно ничего, никогда в тоскливой, безнадежной этой и безотрадной жизни не происходило. И так годы, и годы, и годы...

И вдруг в этом заурядном, безотрадном, мышинном существовании возникает — парк аттракционов! Карусели, качели, паровозик и горки; океан сумасшедшего, необузданного веселья, заразного, неуправляемого, неуправляемого хохота; нескончаемый парад клоунов, карнавные шествия, уморительные кортежи; и петарды, и гроздь разноцветных шаров, и толпы беспечального люда... и музыка, музыка, живая развеселая музыка, до самых бездонных, голубых с зеленым небес...

А перед самым уходом — в громадном кафе под разноцветными зонтиками — их напоили превкусными, ароматными соками и накормили мороженым в огромных вафельных фунтиках, которые, хохоча и заигрывая, разносили по столикам расфуфыренные огненно-рыжие клоунессы и игривые ведьмочки; и было так весело, так необычайно весело...

И на память об этом ошеломительном, волшебном событии остались у Мартина оранжевый резиновый шарик с какого-то аттракциона и чайная ложечка, которой он ел мороженое.

Ложечка была из блестящей красной пластмассы и такая необыкновенно красивая, что он моментально прикипел к ней всем своим существом и больше ни на минуту расстаться ни с ней, ни с шариком оказался не в состоянии. Потому что и шарик, и ложечка были дивным, неизгладимым воспоминанием, отголоском чудесного, давным-давно растворившегося во времени, но ни капельки не позабытого, не потускневшего в памяти праздника.

С этих пор шарик всегда лежал у него под подушкой, и Мартин перед сном обязательно с ним прощался. А ложечку он повсюду носил с собою, и ел все только ею. То, что нельзя было есть драгоценной ложечкой — не ел вовсе. Только на ночь выпускал её из своих рук, клал под подушку рядом с оранжевым шариком, последний раз до неё дотрагивался и только тогда засыпал.

2

Дом, в котором он прожил почти всю свою жизнь, уже и до того, как он в нем поселился, был очень старым, но за последнее время он обветшал совершенно, и однажды им объявили, что в нем надо сделать основательный, капитальный ремонт, и поэтому все они — все до единого — переселяются. За годы, что он здесь провел, у него, как и положено, накопилось множество разнообразных, ненужных и нужных, вещей. Всё подряд забрать на новое место почему-то не разрешили, и он, не в силах решить, с чем можно расстаться, весь свой драгоценный скарб бесконечно перебирал, сортировал, перекадывал... Времени отвели совсем мало, суета в доме стояла из-за этого страш-

ная, нервотрепка ужасная... и когда они все, наконец, переехали, оказалось, что оранжевый шарик на месте, а ложечка, его драгоценная красная ложечка — потерялась. Нигде, нигде не было!!!

Он бродил, бродил и бродил по всем новым комнатам как потерянный. Слезы то и дело наворачивались сами собой на глаза. Дыханье спирало. Одна щека от безостановочной нервотрепки стала подергиваться. Ему казалось, что здесь всегда холодно, все внутри и снаружи от этого холода мелко дрожало. Есть он больше не мог, потому что есть стало нечем. Никакие другие ложки и вилки он не признавал, видеть не мог, дотронуться был не в состоянии... Через несколько дней голод, видимо, стал таким невыносимым, что он попытался есть суп из кастрюли горстями — оказалось так мерзко, что он тут же бросил и больше ни к какой еде вообще не притрагивался.

Его всякими способами старались уговорить, предлагали хотя бы попытаться есть что-то руками — например, курицу или мясо. Он устроил скандал, закатил невиданную истерику, и даже попробовать хоть кусочек чего-нибудь — наотрез отказался.

На шестой только день у медицинской сестры, наконец, появилась здравая, но совсем не простая идея — ехать в парк аттракционов. Так давным-давно та экскурсия состоялась! Все с тех пор как угодно могло измениться. Но попытка — не пытка. Все лучше, чем ждать и надеяться неизвестно на что. Кто назвался, тот, как говорят, и попался: по этому принципу медсестру же в поездку и отрядили.

Она возвратилась из командировки лишь поздним вечером, уже после ужина, и — о чудо — привезла две точно такие же красные пластмассовые ложечки! Одну из них сразу (на всякий пожарный случай) спрятали в надежное место, а другую — выманив Мартина из его комнаты — положили ему под подушку, рядом с резиновым шариком, где ночью всегда и лежала — будто сама отыскалась, будто как в сказке...

И он, наконец, успокоился и мог снова есть и дышать. И, хотя бы на время, стал счастлив.

МАТРЁН И МАТРЁНА

Это множество лет продолжалось, в любой день и любую погоду, стало частью местного колорита. Злоязычные аборигены перекресток улиц Речной и Ткацкой, где это происходило, «углом дураков» окрестили. Так название и закрепилось в топонимии местной — навечно.

1

Матрёна всегда первая появлялась. Придет утречком, часам к десяти, сядет на лавочку под навесом возле центральной почты, платочек цветной или шарфик на шею поправит, руки чинно на толстых коленках сложит и сидит неподвижно — ожидает. Потом Матрён прибывает. Неспешно движется, невозмутимо и подсолнух пластмассовый — чуть не в настоящую величину — перед собой несет гордо, с сознанием собственной значимости. Едва Матрён к скамейке приблизится, Матрёна встает, глазки скромно потупит, с ноги на ногу переминается, ладошку, ковшиком сложенную, Матрёну протягивает. А Матрён здороваться не торопится, в небо глядит, о чем-то важным раздумывает, вроде как Матрёну и не замечает: он тощенький, ниже Матрены на полголовы, но мужское свое достоинство блюдет неукоснительно. Наконец, заметит-таки, любезность её и скромность кивком головы одобрит, руку подаст, цветок любимый, к которому никому дотронуться даже не позволяет, Матрёне протянет, по плечу благосклонно похлопает, и усядутся они после всех этих церемоний на лавочку рядышком: улыбаться станут, в пространство глядеть и радоваться друг дружке.

Сидят не очень и долго. Ровно столько, наверное, чтобы приятное общество ни капельки не надоело, чтобы радость общения нисколько не притупилась. Потом, почти одновременно, встают и Матрёна первым делом, глазки потупив, владельцу подсолнух замечательный возвращает; Матрён подсолнух возьмет, осмотрит придирчиво, листочки погладит, удостоверится, что цветку ни малейшего вреда не причинили, и лишь после этого милостиво Матрену по плечу крутому погладит; затем «поручкаются» друзья на прощанье и до завтра в разные стороны разойдутся. И все это без единого слова, без единого лишнего жеста — ритуал, церемониал, театральное действие.

2

Матрёна умерла ночью, внезапно. Заключение врачей был кратким: апноэ — остановка дыхания. Матрён никто, разумеется, о смерти Матрёны не сообщил — кому б это было нужно, зачем? — и он, как всегда, пришел к лавочке возле почты, стал как вкопанный перед пустым местом, где его бесчисленное число лет неизменно встречала Матрёна, и стал ждать, не в силах представить, что она не придет.

День шел своим чередом. С каштана у почты падали на Матрёна желтые листья, мимо сновали равнодушные люди, катились машины, трамваи... Иногда набегала туча, и недолго шел дождь. Прекращался. Набегал коротко снова... Матрён стоял неподвижно в мелкой лужице среди опавшей листвы, держал крепко, двумя руками подсолнух и ждал. Ждал, ждал и ждал.

Уже стало смеркаться, когда мама-старушка нашла Матрёна там, где и не ожидала найти — ведь он только утром сюда и приходил, никогда больше к почте не возвращался. Она попыталась было заставить его вернуться домой, но он ни за что не хотел уходить, стал кричать, упираться... Старушка плакала, уговаривала, пока не поняла, что сегодня самой ей с сыном не сладить, — и вызвала скорую.

Матрён еще несколько раз приходил к заветному месту, но только теперь, по просьбе матери, почтовики вызывали врачей немедленно; а потом, когда медикам стало понятно, что просто так навязчивость эту не устранить, бесконечно долго держали Матрёна в больнице, кололи, давали таблетки и после еще много месяцев без сопровождения вообще куда не пускали.

С тех пор Матрён с утра до ночи бродит с подсолнухом, как неприкаянный, по всему городу, по центральным улицам и глухим переулкам... Иногда появляется он и возле центральной почты, но никогда возле лавочки не останавливается, даже к ней не приближается.

Не знаю, может, он понял что-то и Матрёну свою где-то в других местах ждет и ищет, а может, это только домысел мой. Не знаю...

ТИНА

Видели ли вы когда-нибудь, как Тина здороваается? Ах, не видели! Тогда вам непременно нужно это увидеть, непременно.

Комната, где складывают инструкции для берушей, довольно большая. В ней сидит человек двадцать, каждый за своим столиком. У Тины тоже есть такой столик, он стоит у окна, прямо возле входа, но она никогда не сядет за него сразу, а сначала остановится в дверях и надменным, всевидящим взором оглядит помещение — все ли на месте. Затем не спеша, с достоинством высокородной дамы подойдет к каждому, небрежно, снисходительно даже, протянет крошечную полную ручку и голосом еле слышным, расслабленным, с интонацией высокомерной, даже презрительной несколько... нет, не произносит, выдает: «Тина. Здравствуйте».

Да и как еще можно с вами здороваться и к вам относиться, если вы даже не помните, что ели на завтрак первого мая прошлого года. И вообще, что вы помните?! Пять дней рождений, десять праздников? А дни рождения всех, кто с вами знакомился когда-либо? А все поездки за город в мелочах и подробностях? А где вы находились... Да что с вами, слабопамятными, без толку разговаривать.

В столовой у Тины свое персональное место. Другие могут сидеть, где хотят, но она — Тина — должна сидеть только здесь и ни за что не потерпит, чтобы ее права ущемлялись; и если кто ненароком займет ее место, мгновенно превращается в фурию. Ее полное, надменно-робкое личико багровеет, она вопит что-то нечленораздельное, щеки прыгают, губы дергаются, руки грозно молотят воздух, даже может ударить.

Здесь к такому поведению не привыкли, поэтому Тина всегда одна-одинешенька, с ней даже не разговаривают, а вот напугать могут запросто, чтобы хоть как-то отомстить за противный характер. Напугать ее очень просто. Достаточно крикнуть: «собака», как Тина приходит в ужас, забивается в дальний угол, дрожит там и плачет. А уж вида живой собаки совсем не выносит, и на прогулке ее нужно крепко-прекрепко держать за руку, потому что если любую, даже карликовую, собачку случайно увидит — убежит — не догоните.

Зато работает Тина превосходно. Ни у кого нет такого рабочего места! Все расположено наилучшим, наирациональнейшим образом, в строгом порядке — неукоснительно соблюдаемом. Потому получается все замечательно, с максимальной скоростью, чисто и аккуратно. Мало того, она еще успевает в окно поглядывать и все, что там происходит, запоминать до мельчайших, невероятных подробностей: кто, когда приезжал, что делал, с кем разговаривал, во что был одет... Проверять бесполезно: все будто вгравировано в память.

Если вы как-нибудь попадете в комнату, где складывают инструкции для берушей, Тина обязательно поднимется с места, подойдет, в своей единственной и неповторимой манере протянет вам руку, назовется и непременно спросит, как зовут вас и когда у вас день рождения. Если вы ей это расскажете, можете быть абсолютно уверены — теперь, в этом эгоистичном и беспамятном мире, есть кто-то, кто будет вас помнить всегда.